

П

еречитываешь «Азорские острова», автобиографическую повесть Владимира Кораблинова о детской и юношеской поре его жизни, и вновь возвращаешься на просвеченные надеждами строки, — как давным-давно он, молодой и сильный, в летнюю лунную ночь, едучи из губернского града в родное село, спрыгнул невесть за чем с пригородного поезда, бежал вдоль насыпи и пел. «Он не думал о том, что может споткнуться и упасть под колеса или что у него ослабнут ноги и он, обессилев, не в состоянии будет снова вскочить на ступеньку вагона... Бежал человек оттого, что ощущал радость и был уверен, что никогда не умрет и ничего плохого с ним не случится...»

В народе говорят: на веку — как на долгой ниве. Еще говорят: не зарекайся ни от сумы, ни от тюрьмы. Всякое человеку за его жизнь выпадает, радостью — не нахвалишься, от беды — не спрячешься.

Ранние его стихи, ранние рисунки — как знаки надежды. Как обещаемая милость судьбы. Но в тридцатые годы двадцатого века испы-



Владимир Александрович Кораблинов

тает и он Сибири. Выпадут години скитаний, неуют, голод, неустроенность. Но будут и радости семейной жизни. Прекрасная, чуткая, музыкально одаренная жена. Трое сыновей. И в немолодой час придет, наконец, писательское и общественное признание.

Владимир Кораблинов родился 31 июля 1906 года в недалеком от Воронежа Углянце — селе, известном еще со времен Петровского корабельного строения. Отец, священник в местной церкви, был образованным человеком. В доме имелась добротная библиотека с хорошим подбором не только духовных сочинений отцов церкви, но и произведений русской и мировой классики. Мальчик рано пристрастился к чтению. С малых лет проявилась в нем тяга и к сочинению стихов, и к рисованию.

В 1915 году Владимир Кораблинов поступает во Вторую Воронежскую гимназию, но из-за военных лихолетий оставляет ее, не завершив курса. Учится в Воронежских художественных мастерских. Берет уроки у известного живописца Бучкури.

В двадцатые годы будущий писатель начинает публиковаться в местной и столичной периодике. Бывает в Москве, встречается с Платоновым, Новиковым, Пильняком, Новиковым-Прибоем, Воронским. В 1927 году Маяковский, после приезда в Воронеж, печатает в «Новом ЛЕФе» отрывки из кораблиновской поэмы о декабристах.

В 1931 году, в апрельскую ночь, Кораблинова, художника издательства «Коммуна», арестовали и доставили во внутреннюю тюрьму ОГПУ. Ему и нескольким его друзьям и знакомым предъявили обвинение в антисоветской деятельности. В тюрьме он оказался в одной камере с Путинцевым, основателем литературного музея имени И.С. Никитина, известным ученым-фольклористом, проходившем по «делу краеведов». Большой знаток и почитатель творчества народных поэтов России — уроженцев Воронежа, Путинцев усилил и углубил в молодом сокамернике историко-литературный интерес к родному краю. Он в известной мере и подвигнул Кораблинова на замысел романа «Жизнь Кольцова», воплощенный лишь через четверть века.

По статье пятьдесят восьмой Кораблинова осудили к трем годам заключения, срок он отбывал в Сибири. Через два года, досрочно освобожденный, вернулся в Воронеж. Но ему то и дело приходилось менять адреса работы. Одно время было запрещено жить в родном городе. Чтобы прокормить семью, вынужден был перебраться на Волгу, где в Казани подрабатывал оформлением книг.

С сорок первого по сорок пятый годы, за вычетом эвакуационных месяцев, приют семье Кораблиновых дает Борисоглебск. В авиационном училище художник еженедельно выпускает «Таран» — насыщенное военной тематикой «окно сатиры».

После войны Короблинов перебирается с семьей ближе к Воронежу. Живет в Графской. Ежедневно ездит в город, где он сначала — художник областного книжного издательства, затем — газеты «Коммуна», наконец — «Молодого коммунара».

Молодежную редакцию вскоре возглавил Борис Стукалин, будущий подвижник журналистского, издательского, литературного дела в стране, министр печати СССР, государственный и общественный деятель, который пригласил в редакцию даровитых молодых газетчиков. Владимир Александрович становится подлинно центром притяжения. Василий Песков, Алексей Прасолов, Анатолий Жигулин, сотрудники редакции и ее гости — все тянулись к нему. Как на огонек в ненастную ночь. В чем заключалась тайна его притягательности? Литературная молодежь тянулась к личности, в которой счастливо, органично соединялось и человеческое, и писательское. Широта души и энциклопедическая глубина познаний. Искренность и естественность во всем. «Человеком-университетом» назвал его знаменитый писатель-эколог, публицист В.М. Песков в одном из очерков о начале своего журналистского пути. Благодарственно и тепло вспоминает о нем (и не только как об авторитетном и опытном газетчике, тонком ценителе и знатке литературы, человеке, обладавшем безупречным литературным вкусом и житейской мудростью) Б.И. Стукалин в замечательной книге воспоминаний «Годы, дороги, лица».

После романа о Кольцове, изданного в 1956 году столичной «Молодой гвардией» и неоднократно затем переизданного, жизнь Короблинова обретает житейскую и творческую устойчивость. У него статус профессионального писателя, квартира в Воронеже. Оставлена долго длившаяся газетная поденщина. Год за годом выходят в свет его книги. О выдающихся событиях на Воронежской земле. О великих земляках.

В середине шестидесятых для нас, молодых литераторов, имя Владимира Александровича звучало уже как легенда. И первые встречи с писателем оставляли у каждого из молодых желание видеть его снова и снова.

Медленно, грузный и одышливый, шел он по главной улице города, медленно поднимался по широкой кованой лестнице дореволюционных времен на третий этаж дома, где располагалась Воронежская писательская организация. И неизменно тут же образовывался живой круг. Славно, что этот интерес не был и не мог быть сугубо деловым, как ныне говорят, прагматическим (скажем, кресел редактора газеты или директора издательства Короблинов никогда не занимал). Тянулись к человеку большой души, излучавшей нежный свет. Доброприветливые глаза, высокий лоб, неторопливый глуховатый голос... Владимир Александрович был прекрасный и рассказчик, и собеседник. И скольким молодым было во благо всего лишь эпизодическое общение с ним!

Случается, что людей творческого начала на восходе или даже на закате, по мере воплощения их парнасского дара, настигает или увлекает демон лукавства — лукавство мысли, лукавство слова, лукавство поступка, подчас столь искусные, что не вдруг и почувствуешь. Владимир Александрович, по счастью, был далек от всего этого.

Он, правда, бывал ироничен, не прочь пошутить, посмеяться, чаще — над собою. В других же — умел выделить, увидеть лучшее, что, разумеется, не мешало ему быть справедливым и требовательным, когда речь заходила о подлинном и мнимом, о жизни и слове.

И его квартира всегда была открыта знакомым и незнакомым, старым и молодым. Перебывали здесь местные, да и не только местные, литераторы, художники, издатели, учителя, студенты, старшекласники, так или иначе приобщаясь к достоинству и несуетности, очевидными в нем. Нередкими гостями были писате-

ли Валентин Юценко, Юрий Гончаров, Николай Коноплин, Алексей Прасолов. Позже — литераторы и литературоведы Виктор Кузнецов, Олег Ласунский, Тамара Давыденко, Светлана Шамаева. Наезжали из Москвы Борис Стукалин, Василий Песков, Михаил Домогацких, Анатолий Жигулин, Евгений Дубровин. Отмечал он из молодых Евгения Титаренко, Василия Белокрылова, Станислава Никулина, Евгения Новичихина, Ивана Евсеенко.

Так стало, что в последние двадцать лет жизни Владимира Александровича бывал в его доме часто и я. Иногда мы приходили с художником Василием Павловичем Криворучко, в те поры вынашивая замысел создать художественно-поэтическую книгу о Воронеже. Но все откладывали на завтра: то не хватало собранности, то времени, к тому же и мне, и Криворучко приходилось часто отлучаться из города. Но по приезду я первым делом старался навестить ставшую родной квартиру на улице Комиссаржевской.

Владимир Александрович нередко вспоминал эпизоды своей далеко не безоблачной жизни, и здесь сама безнадежность оборачивалась надеждой, — так все подсвечивалось его добродушной иронией. Собеседник знал о его трудной, ломаной судьбе, и это душевное правило писателя — не сосредоточиваться на тягостном и горестном — добавляло и другому сил противостоять возможным невгодам. Его судьбою словно бы подтверждалась известная истина: человек формируется и утверждается не только благодаря добрым обстоятельствам, но и в противостоянии дурным. Его жизнь, образ поведения словно бы свидетельствовали: настоящее всегда обретает свой час. Только не все, что заявляет о себе как настоящее, есть настоящее. Не все, что громыхает, — гром. Но истинное — даже если его запрещают, искажают, шельмуют — рано или поздно обретает свое подлинное значение.

Писатель вообще был чужд суеты и жажды быть на виду, горячки благоденственно устроиться. После выхода в «Молодой гвардии» романа «Жизнь Кольцова» столичные издательства нередко обращались к Владимиру Александровичу, и несколько его книг были изданы в Москве. Дальше требовалось почаще напоминать о себе, «толкаться» в московских редакциях, но он этого не делал и не хотел делать.

При редкостном чутье прошлого и отменном знании его, при завидном трудолюбии и преданности своему дару главной своей книги писатель, может быть, и не написал. Справедливее так сказать: все им созданное в совокупности и есть его главная книга. С другой стороны — так много осталось невоплощенного, нереализованного на странице, мир его души и мысли был так щедро широк и значителен, что не вмещался в созданные им книги, был значительнее, чем все написанное им. Требовался заключительный аккорд. Слово-завещание. Книга воспоминаний «Азорские острова» такой книгой стать не могла.

Неладья житейского и творческого характера (например, под цензурным оком и натиском, теряя многие страницы и главный смысл, его романное о разрушительной революции повествование «Крещение Аполлона» превратилось в «Прозрение Аполлона»), думается, не могли бы помешать созданию давно выстраданной завершающей — итоговой — книги, если б не беда со здоровьем. Владимир Кораблинов с детства носил очки и никогда не мог похвастаться хорошим зрением. На последнем десятилетии его жизни и оно, слабое, оборвалось по нелепой случайности: писатель, при попытке войти в автобус, внезапно захлопнувший дверь и рванувший с места, упал, жестоко ударился об асфальт и почти перестал видеть.

Для человека, который всю жизнь работал глазами: прочитал тысячи книг, проиллюстрировал десятки изданий, отретушировал горы фотографий, исписал бесцетные стопы страниц, — оборванное зрение было подобно остановке самой

жизни. Без чтения, без письма было — как без воздуха. Владимир Александрович пытался писать вслепую — через картонные прорезы, налагаемые на чистый лист. Результат — одно расстройство. Предлагали ему диктофон. Но он напрочь отказался: ему, писателю старой традиции, необходимо было чувствовать в руке «орудие» своего труда, важен был незримый ток от сердца к перу. Не проще было и с чтением. Правда, наиболее существенное из периодики ему читали жена и сын, да и навещавшие его близкие. Но он тосковал по страницам русской классики, страдал, что не мог их заново перечитать. Пробовали их ему читать, но он сокрушенно признался: «Бунинскую строку видеть надо!»

Оставалось одно — вспоминать. И думать, думать... Без явной — глазами — связи с миром это были нерадостные думы. Нередко у него прорывалось нечаянное и уже укорененное: «Пора, пожалуй, собираться домой!» — так старики крестьяне говорят, предчувствуя неотдаленный конец. Как всякому человеку, прожившему по совести и правде, ему, думаю, не страшны были мысли о смерти. Но, чувствовалось, его тревожило и мучило: что будет с родными? А еще — что станет с родной землей в недалеком будущем? Переломное время, и куда переломит? Он знал, он помнил, как «разгулялись, расплескались бесы по России вдоль и поперек» в революцию и гражданскую, в двадцатые и тридцатые годы, знал, какие подмены и какая ложь стоят за хорошими словами и обещаниями. Подступалась очередная смута, и мысли его были тревожны и безрадостны.

Он ушел (24 марта 1989 года), и в нашем городе словно бы ушла с ним некая тайна, связующая времена. Слово бы оборвалась межвременная крепь. Сколообраз старей культуры на стыке двух сословий — духовенства и крестьянства, он был — как силовое поле чести, совестливости, милосердия. Как мощный плодородный пласт родного берега. Пласт рухнул в глубины, дна которых нет и не бывает.

А до того... Может быть, это на всю жизнь оставалось его болью и раной. Владимир Александрович рассказывал мне не раз, как старший его брат, Петр Александрович, молодой врач, рекрутированный белыми при отступлении из Воронежской губернии, канул на гражданской братоубийственной в украинской степи. Когда белые полки генерала Май-Маевского под грохот красных батарей перебирались через степную речку, образовался затор, началась мгновенная и жестокая давка. Старшему брату сбили очки, без них он дальше своих рук не видел и замешкался, пытаясь нашарить их под ногами. Поток смял его, беспомощного... Через год очевидец, братьев товарищ, вернулся и сообщил, как все было.

И каждый раз, скупой рассказывая и словно ранясь о рассказ, Владимир Александрович с горечью заканчивал этим: оборванное зрение и поток. Оборванное зрение родины и не слепой ли и несчастный поток?..

2

Однажды в беседе с молодыми прозаиками Кораблинов поведал о том, как рождался роман «Жизнь Кольцова». В послевоенном пригородном поезде всякий будний день, поутру и на ночь глядя, добирался он из Графской в Воронеж и обратно. Под колоннадное мелькание мачтовой вознесенности сосен заповедного Усманского бора хорошо думалось, зримые и мысленные картины, исторические вехи, имена, подчас самые неожиданные, шли прихотливой чередой. В осенний вечер, когда пригородный невесть почему надолго остановился в глубине леса, «явился» поэт-прасол. С такой очевидностью характера, песенной души, поступков и даже «подсказывающими» речами — что оставалось только сесть за письменный стол.

Тайны творчества необъяснимы. Что дает импульс к написанию книги? По рассказу Владимира Александровича, выходило, что и разлив сосен с редкими свечами берез, и девушка, одиноко уходящая по тропинке в лес, и белый косяк стригунков у тиховодной речки, и далекая степь, и старинные воронежские улочки, и Гусиновский лог, и скорбный, в черного мрамора плитах уголок кольцовской семьи около Всесвятской церкви на Новомитрофановском кладбище, — все это какими-то неведомыми путями несло свои токи при рождении и написании рукописи. В рассказе писателя не было и тени некоего «литературоведческого» пафоса, он был прост и поэтичен, как дорогие сердцу места.

Ничего в том удивительного нет: рассказывал-то именно художник и по сущности своей, и по делу всей жизни. Человек, осененный солнцем и зарницами над пологом усманских сосен, в зеленом кольце которых таился Углянец — его малая родина.

«Село наше Углянец, — пишет Кораблинов, — в годы моего детства вращалось в лес. В знаменитый Усманский бор, и было оно едва ли не самым древним из всех окрестных сел. Ведь от давних Петровских времен, от поры великого корабельного строения сохранилась адмиралтейская грамота, где прямо указывалось: «А лес возить на воронежскую верфь по углянкой дороге мимо старой часовни».

Отсюда, от речки Усмань, от сосен да берез, росших за околицею, да от непрядно-красивого слова углянских жителей, берегших и творивших живую русскую речь, от их трудных судеб — и слово писателя, его замечательные книги о родном крае, столь значимом для Руси и России.

В «Жизни Кольцова» явственно проявились особенности творческого почерка Кораблинова: интуитивное видение исторического факта и его развитие, психологически убеждающее осмысление образов и событий прошлого, зримость изображаемого времени, поэтичность. Перед нами не документалист, не хроникер, набрасывающий на тот или иной факт пеструю или серую словесную ткань, а художник, который находит реалистическую гармонию между правдой и вымыслом; документ не выключен из художественной структуры повествования, он есть в романе, но не в чистом или беллетристически подкрашенном виде, а опосредованно. Он живет в нем как подчиненность, как отправная точка, с которой берет разбег авторское воображение и, в конечном счете, разгадка самого времени.

Кораблинову важна не копиистская фиксация «было — не было», но — что вырастает из документального свидетельства. Трагическая история продажи любимой Кольцовым девушки известна в общих чертах из воспоминаний современников, из статьи Белинского; но если бы уцелела купчая или иные архивные «единицы хранения», связанные с драматическим событием в жизни поэта, и Кораблинов обнаружил их — маловероятно, чтобы он шаг в шаг следовал за документом: натура художника не терпит протокольной скованности; но сам данный факт больше, чем просто факт. Память о невольнической доле любимой сумрачно отсвечивалась в сердце и сознании Кольцова, и тот горестный отсвет словно бы видишь на протяжении романа. Писатель, избегающий буквальной точности факта, вместе с тем точен в характеристике эпохи, что достигается как психологически достоверным движением образов, так и колоритно-зримым, через многочисленные конкретные детали, изображением быта былого времени.

Наконец, роман поэтичен, тому объяснение и в исходном материале, и в самом восприятии мира писателем — он и начинал как поэт, первая его публикация состоялась в альманахе «Зори» еще в 1922 году, когда автору не было и семнадцати.

Роман «Жизнь Кольцова» положил начало широкой известности автора из Воронежа. Роман был экранизирован, по нему поставили спектакль, с огромным успехом прошедший на воронежской и москвовской сценах.

«Жизнь Кольцова» — одна из прелюдий к прочувствованной и пережитой теме «судьба художника» — заглавной, пожалуй, во всем творчестве Кораблинова. Начав с приметнейшей личности в богатой истории родного края, писатель создал поэтическую летопись его, протяженный в веках изменчивый образ малой родины, неотделимой от всей русской земли.

Проникновенно-сыновнее восклицание: «Куда нам, детям твоим, от тебя? На твоей земле родились...» звучит первый раз в «Герасиме Кривуше», повести о восстании в Воронежской крепости; вторично — отдаленное страницами и веками, — в «Горах Чижовских», повести о предвоенной и фронтовой поре Воронежа в Великую Отечественную, еще памятной многим воочию. Здесь художник Дмитрий Терновский лепит макет старинной крепости, реконструирует облик былого Воронежа, понимая, что и тот сложный, грозовой, предвоенный день, в котором он сам живет, — также неотъемлемая страница истории его города и всей страны. И потому он ведет дневник, в котором фиксирует нынеидущее, сегодняшнее, сиюминутное. И записывая тогдашнее сегодняшнее, вновь и вновь возвращается к прошлому родного края в его временной протяженности: «Никогда с такой очевидностью не понимал, что все мои духовные корни — в воронежской земле... Крутые горы Чижовские, крымцев набег, Петровские корабли, самофаловские колокола, большая дорога, по которой Кольцов гурты гонял, по которой Пушкин, Лермонтов, Белинский езживали, книжная лавка Ивана Саввича Никитина, столетние дубы возле яхт-клуба...»

На первый взгляд эта дневниковая запись носит сугубо «местный» характер. Но так ли? Возможно ли, не порвав связующие нити, отделить все это — восстание воронежцев в предразинские времена, корабельное строение, судьбы Кольцова, Никитина, — от судьбы всей России? Или — картина горящего города в тяжелейшем сорок втором, столь рельефная на фоне сдержанного повествования, — разве частная, лишь воронежская?

Обращение к именам и событиям в четко означенном пространстве — вовсе не признак «краеведческой» суженности. К примеру, Дон «протекает» и по многим произведениям Кораблинова. Но когда говорят, что творчество его — летопись донского Воронежского края, не следует толковать эти слова буквально, полагая, что перед нами некое искусное учебно-историческое пособие, своеобразный краеведческий свод. Летопись по отношению к творчеству Кораблинова применима разве что с определением — «художественная». Это художественное размышление о судьбах и именах родного края в контексте родной страны. От язычества до недавних времен, от крещения Руси христианским крестом до Божьего и земного наказания России революцией и мировыми войнами.

В изображении исторического прошлого — какое разнообразие интонаций, ритмик, стилевых начал, изобразительных приемов! Сказовая, народно-поэтическая мелодика «Герасима Кривуши» с фольклорной концовкой — прилетом ворона, приносящего воду мертвую и живую; стилизованное под церковно-славянскую вязь письмо «Падре Ефимиуса»; публицистически-сдержанное повествование в «Горах Чижовских», перемежаемое эмоционально-насыщенными авторскими раздумьями; ироничный и без оного, легкий, под стать «цирковому» содержанию, слог в «Доме веселого чародея» — книге о прославленном артисте русского цирка Анатолии Дурове.

Многое в произведениях Кораблинова являет разновременные параллели, страницы о прошлом подчас совмещаются с реальностями настоящего и невольно наводят на мысль о повторяемости и злых, и добрых начал в судьбах «града и мира».

Повесть «Воронежские корабли», содержательная, событийная основа которой — Петровское корабельное строение на степной реке, расширяет реально-историческое событие до границ поистине онтологических. Здесь в известной мере означен «русский путь», вобравший в себя порыв к высокому, духовному, небесному, но и — земную неустроенность. На этом пути — свет и мрак, смирение и бунт, тихая келья и людная верфь. Строителям и кораблям той странной степной верфи выпадет отнюдь не благополучный путь — что в начале своем, что в конце...

Мы оказались свидетелями того, как могучие океанские корабли недавней державы пошли на металлолом и даже за бесценок, за ничтожные суммы долларов были отданы в чужие, если не враждебные руки. А каких сил народных потребовал отечественный флот! Несколько веков подряд Россия пробивалась к «мировой воде» — то к Черному, то к Балтийскому морям, то к Тихому, то к Индийскому океанам. Воронежское корабельное строение — одна из первых серьезных попыток. Более неудачная, нежели удачная: построенные на Азовском море военные крепости пришлось скрыть, лучшие, не погибшие в морских боях и мирного времени пожары воронежские корабли после незадачливого Прутского похода отдать тем, против кого они предназначались.

Подъяремным было корабельное строение, в повести немало о том гнетущих строк. Простой люд, согнанный царевой властью из разных мест Руси, гнулся под тяжестью непосильных работ; пластом падали люди, сморенные болезнями, голодом, холодом; подобно древесным стволам, всюду разбросанным по верфи, срубленным понапрасну, ибо в дело годились разве два-три из дюжины деревьев. Кораблиновские «Воронежские корабли» и платоновские «Епифанские шлюзы» сближаются не только эпохой, темой, образом самодержца, но и авторскими позициями: народ, всегда способный различить действительное и мнимое благоустройство, смотрит на ранние Петровские опыты как на иноземные затеи, которые рано или поздно закончатся крахом. Немыслимо трудно было выдержать стране две подряд революционных, шедших сверху ломки: царь Петр Первый начал свои реформы, когда еще и полвека не прошло со времен раскола — церковных реформ патриарха Никона. Радикальное преобразование Руси породило прежде всего неисчислимый чиновничий, бюрократический легион, стянувший всю страну разнообразными сетями и цепями (и поныне в этом пресупевающий). В «Воронежских кораблях» один из героев повести положение тогдашних дел оценивает примерно так же, как если бы его потомок — в начале или конце двадцатого века: «Вся наша беда от пустого начальства...» Разумеется, не только от него беда. Но и от него, сторукого. Местного и столичного. А теперь еще — и мирового.

Тема художника и власти, художника и судьбы раскрывается в повести в образе деревенского паренька Васятки Ельшина. Малолетний живописец не только поленья, но и печку, и дверь на амбаре углем разрисовал — скачут кони, птицы летят, а на амбарных дверях двое стрельцов топорами секутся. Родителям его дар казался баловством. Но царь, когда Васька со своими рисунками, волею случая, оказался перед державными очами, велел его определить на учение. Царь желал бы и в своей державе собственного Рафаэля иметь. «Только и умеем, что богов на образах мазать», — походя роняет он, словно и не ведая, что православная рублевская «Троица» — высшее духовное и художественное явление, и что тот же Рафаэль прежде всего именно образом своей Мадонны и славен. Драматически и убедительно воплощается в небольшой повести большая тема искусства и жизни. Не заладилось у малолетнего художника учение, да и до художественных ли упражнений, когда власть отнимает у него отца и мать, когда самому ему приходится убежать от государевых драгун? Нет, Европу в Россию не завезешь, и приволь-

но было царскому гостью, заезжему голландцу Корнелию де Бруину рисовать воронежские бугры, а когда ты на родной земле — как на чужой и враждебной? «Вспомнились листы, кои показывал ему кавалер Корнель... Мельницы, тихие воды, коровы с колокольчиками, плоды, хижа под черепицей... Кому у нас любоваться этими плодами, ландшафтами... До них ли?» Юный художник избирает путь борьбы с угнетающей народ силой. Он уходит к мятежникам. Но разбивают последних. Юный бунтарь, спасаясь от драгун, бросается в воды Курлак-реки. Его настигает пуля. «А ведь, может, второй Рафаэль был бы?» Могло статься и так... Но гибель отца и матери вызвала к отмщению. Только не было на Руси традиции, чтобы словом и кистью поквитаться с неправой силой. Разве что топором или мечом...

Еще одна повесть о власти и личности художественной, духовной — «Падре Ефимиус», основа которой — рассказ о воронежском периоде жизни выдающегося ученого, историографа, духовного пастыря Евгения (Болховитинова). Но в «Падре Ефимиусе» именно этого Болховитинова мы не увидим, он еще только ищет путь к себе. В повести обстоятельно описан просветительский кружок, среди первых в котором — молодой «Падре Ефимиус» (принято было в том кружке играть в итальянские псевдонимы, восторгаться французскою просвещенностью, хвалить свободы и бичевать тиранию, отдаваться «демону сочинительства»). Но перешагнув будущий ученый и духовный пастырь через все это и пришел к подлинному, и первым его деянием подлинным было создание и издание «Географического, исторического и экономического описания Воронежской губернии» — уникального труда, который вот уже два века является настольной книгой местных краеведов.

Редкостной занимательности и серьезности могла бы получиться книга о послеворонежском периоде жизни Болховитинова. Вехи-то какие! Служение в Александро-Невской лавре. Епископские кафедры в Новгороде, Вологде, Калуге, Пскове. В декабрьский день 1825 года выход в митрополичьем облачении на Сенатскую площадь с надеждой отговорить мятежных декабристов от смуты, опаматоваться и вернуться под скипетр самодержца. Создание обширных словарей и историй — России, Грузии, Украины. Избрание в Российскую Академию наук по рекомендации своего друга, великого поэта Державина. Долгие годы — кафедра митрополита Киевского и Галицкого. Реставрировал Киево-Печерскую лавру. Осуществляя археологические раскопки, вызвал из тьмы небытия Золотые ворота, Десятинную церковь. Археограф. Герменевтик. Собиратель и исследователь летописей. В оценке Погодина, знаменитого отечественного историка, он — «из величайших собирателей, которые когда-либо существовали». Духовный пастырь и ученый. «Краугольный камень православной науки».

Биографически цельную книгу о таком человеке должен написать и скорее всего напишет Воронеж (и скорее всего в нынешнем веке), но заслуга Кораблинова, решившегося на начальное и, пожалуй, самое трудное о Болховитинове повествование, запечатлевшее переход «семинариста-кружковца» на высоту подлинно духовную, — заслуга эта неотменима в нашей благодарной памяти.

Странно было бы, если бы Кораблинов, посвятивший свое перо творческим турам, создавший книгу о Кольцове, не обратился бы к образу Никитина. В нашем сознании образы народных поэтов-земляков неразделимы. Неразрывность их судеб утверждается и писателем. В романе «Жизнь Никитина» (он написан и издан много позже романа «Жизнь Кольцова») начальная сцена — похороны Кольцова. На погребении присутствует Никитин. Не знаем, есть ли здесь правда факта (нигде в воспоминаниях, исследованиях не говорится о том), но правда жизни, безусловно, есть. Ибо поэтический светильник, выпавший из рук измученного

Кольцова, подхватил его воспримник-земляк. Любопытный штрих: в одном из жандармских донесений в Третье отделение об авторе «Руси» сказано: «мещанин Никитин, рьяный поэт, последователь Кольцова». Давно уже в «реестре» отечественной словесности оба они — народные поэты, и писатель художественно запечатлел их органическое родство.

Сложное дело — писать о таком человеке, как Никитин. Часто говорим — он совершил подвиг. Подвиг тем более трудный, что не мгновенный и всем видимый, а каждодневный и неприметный.

Умаянный дневными хлопотами на постоялом дворе, он в скромном уголке дома над раскрытой книгой или заветной тетрадкой со стихами, случилось, не смыкал глаз до утра. Как Платонов, в молодости внешними чертами напомилавший Достоевского, художественно-философски продолжил дело Достоевского, так и Никитин, облик разительно походивший на Шиллера, творческому делу Шиллера себя без остатка и посвятил. И уже раннее его стихотворение «Русь» воспринято было основной Россией (кроме, разумеется, радикальных — то революционных, то либеральных — ненавистников страны, вроде зайцевых да утиных) как искренняя песнь большого поэта. Но большие поэты на Руси редко когда живут долго. В пушкинском возрасте, тридцати семи лет от роду, угасшему Никитину «вырыли заступом яму глубокую» рядом с Кольцовым, прожившим и того меньше.

Повествование о таком человеке, как Никитин, не предполагает обостренных внешних коллизий, в этом смысле судьба Кольцова куда «беллетристичнее», она выстраивается в увлекательный сюжет. Роман «Жизнь Никитина» и написан в иной, нежели повествование о Кольцове, художественно-изобразительной манере: он — цепь психологических этюдов, сменяющих друг друга душевных состояний героя, в нем больше внутреннего монолога, погружений в творческую лабораторию. Зримо воспринимаешь образ Никитина и в окружении его друзей и знакомых по «второвскому» кружку, и на постоялом дворе возле лихих извозчиков, и среди бесшабашного торгового люда, и в книжной лавке. Часто отдельный, художественно осмысленный биографический факт звучит в строке писателя драматически напряженно, возвышаясь до трагедийной ноты. Что ж, Никитин и впрямь — одна из самых скорбных и мужественных фигур русской словесности. Почувствовать Никитина — и мученика, и гражданина, и поэта — Кораблинову помогает редкостное качество писательского дара — чувствовать сам дух ушедшей эпохи, атмосферу времени. Разумеется — и отменное знание старого быта и языка ушедшей эпохи. Отличный, сочный, меткий язык. Слушая, например, речь Саввы Евтеевича, отца поэта, как не увидеть человека во многих ипостасях: крепкую кость, честолюбивого крутого купчину, гордеца-своенравника, воюющего с обстоятельствами, надламываемого, сламываемого ими, наконец, на все махнувшего рукой: «Пропади все пропадом!»

Большая книга кораблиновского творчества, разумеется, не во всем совершенна. Есть спрямленность некоторых эпизодических образов, однозначность портретов отрицательных персонажей, тускловатый фон изображения старого быта, блоки из повествования в повествование повторяемых аксессуаров обывательского существования, какие находим и в романах о Кольцове и Никитине, и в «Зимнем дне» — рассказе о пребывании артиста Мочалова в Воронеже вскоре после смерти его друга-прасола. У автора сфокусированное и словно бы сформированное внимание к детали, эпизоду, к вещным реалиям старинного быта. И все же... «Волчьими огоньками поблескивали глаза насторожившихся обывателей... затаявшийся за дощатыми и каменными заборами город с его грязными сплетнями, скверными намеками, дрызгами, плутовством и злобным лаем цепных собак...»

пусту это даже и так, но подобное перечислительное, назывное и чуждее изображение обывательского мира художественно мало убеждает. Тут (в разговоре о прежней кондовости, патриархальности, обывателях, мещанах) невольно вспомнишь платоновский из тридцатых годов прошлого века рассказ «Фро», слова отца героини, который свою дочь, боящуюся быть похожей на мещанку, успокаивает: «Ну, какая ты мещанка!.. Тебе до мещанки еще долго жить и учиться нужно: те хорошие женщины были...» Сказать и так: слишком поверхностно было бы это — конфликт таланта с обывательским окружением. Ибо трагедия подлинного таланта одним лишь конфликтом с внешней, пусть даже и враждебной, даже мстительной средой не исчерпывается, она, конечно же, глубже и дольше сиюминутного, в основании ее множество причин — генетических, исторических, психологических...

«Азорские острова» — книга воспоминаний о детстве и юности, здесь слегка сказывается дыхание аксаковских и толстовских «илиад» детства, хорошо показано, как рождается чувство и к родному краю, и к России, воспринятой через нарисованный на обложке «Нивы» портрет славянской девушки; «со взглядом долгим и ласковым, она была в каком-то причудливом венчике вроде кокошника, со звездой во лбу, с ниспадающим кисейным покрывалом... девица-раскрасавица была Россия!» — одно из первых авторских озарений. Семейные предания, засвидетельствовавшие художественный талант рода Кораблиновых, органически вплетаются в повествовательную ткань, как и многие исторические имена, эпизоды, события.

«Азорские острова» стоят особняком в творчестве Кораблинова и в то же время являются органической его частью, логически продолжая исторический свиток. И как в судьбе города отражается судьба страны, так и через жизнь одного человека, вспоминающего автора, высвечивается эпоха — разломное и жестокое для России время первой трети двадцатого века. Правда, ощущается не то что недоговоренность, но как бы преимущественная авторская взглядчивость в дни, картины, эпизоды, может, психологически и важные для растущего и постигающего мир мальчика и юноши, но никак не могущие отобразить великой драмы «конца истории», заменяемой «светлым будущим».

Много в книге «литературных призраков». Много страниц красочно-«театральных». Но не там, на театральных подмостках и в новациях режиссеров, шла трагическим ходом народная жизнь.

Большие и даже великие писатели, перечитывая свои, уже признанные широчайшей читательской аудиторией произведения, считали необходимым сказать о том, что, будь время, они бы их переписали, многое сделали иначе. Так Пушкин говорил о «Руслане и Людмиле», Леонов — о «Воре», Шолохов — о «Тихом Доне». Будь время и иные обстоятельства, наверное, немало бы переписал и Кораблинов, во всяком случае, со мною он не раз делился этим настроением.

Сделанное есть сделанное. По-художественному убедительно, значительно и самобытно. И мы слышим, видим и принимаем эту переключку надежды и веры, идущую через столетия. От «Герасима Кривуши», повести о воронежских событиях семнадцатого века — «и вечной правды, вечной жизни свет встанет»; и до «Гор Чижовских», повести о воронежских событиях века двадцатого, в годы Великой Отечественной войны — «Неужели реквием?.. Нет, нет. А эти руины, это длинное, черное облако? Ну и что же, оно развеется... Но что останется от города? Ах, да что бы ни осталось — останутся люди... Да будут счастливы люди! Да будет навечно жизнь!»

Писателю мало одного настоящего. Или одного прошлого. Он триедин во времени. И это заклинающее «да будет» — загляд его в завтра. И художник Терновский, дорогой автору образ, столь обостренно чувствующий трагическое прошлое,

в некий черный день которого был вздернут на виселицу его предок-бунтарь, — художник сражается и гибнет под вражескими пулями за будущее. Дабы скорей рассеялось над его родным городом багровое облако от фашистских орудий и дабы небо для будущих поколений было чистым.

Мир, созданный Кораблиновым, являет большой пласт духовной жизни русского общества девятнадцатого века. Это мир болховитиновских исторических исследований, кольцовских и никитинских стихов, мочаловского монолога, народной песни. И здесь же как зловещий нарост — мирок балалайкиных, лицемеров и фискалов, хапуг, циников, бессовестного и бездуховного сброду. Разумеется, не этим сбродом-наростом интересна и значительна была Россия — она была значительна своими сословиями, каждое из которых — как целый материк, губернскими и уездными территориями и укладами, православной верой, бесчисленными златоглавыми соборами, монастырями, лаврами, народной культурой и классической литературой, — всем тем, что давало основание и радость выдающимся представителям европейской культуры, например, знаменитому австрийскому поэту Рильке, видеть в России свою духовную родину. И тем более именно такая родина была запечатлена русскими писателями, вынужденными уйти в изгнание, прежде всего нашим земляком Буниным, который в «Жизни Арсеньева», где, к слову сказать, с восторгом цитируются строки из никитинской «Руси», пропел лебединую песнь великой России александровских времен последней четверти девятнадцатого века.

Именно эту органику родины ранние большевики-комиссары рушили с небывало злым остревением. Увы, были у них предшественники в образах и художениях семинаристов, часто недоучек, блудных сыновей православного священства, и немало чернышевских желало призвать на Россию все мыслимые и немыслимые кары, топор, революцию. Владимиру Кораблинову, писавшему при атеистической советской власти, трудно было сказать высокие справедливые и милосердные слова о сословии духовном, хотя, с другой стороны, «Житие пресвященного Смарагда» — пусть не совсем удачная, однако все же попытка не пройти мимо одного из трагических разрушений отечественного бытия.

Но не станем уподобляться плененным мифами и стереотипами (или порождающими эти мифы и стереотипы) «политико-краеоведам», которые часто выступают как близнецы-братья. Им подай Русь — без православия; Россию — без государственного, державного начала; русских людей — не помнящими своего прошлого; Пушкина и Достоевского — без истинно справедливых и пронизательных, пророчески точных размышлений о западной демократии и свободе; Никитина — без его державно-православной «Руси»; Платонова — без патриотических военных рассказов о русском солдате-крестьянине... и так далее, и так далее. Но, хотя люди и живут в давно уже ненормальном, техногенно-виртуальном мире, еще многие, слава Богу, нормально мыслят и понимают, в чем полноценность вышеназванных имен и хотят видеть их и их творчество в неурезанном виде.

В творчестве Кораблинова — схватка противоборствующих сил истины и лжи, добра и зла, и как бы ни заканчивалась она в том или ином повествовании, в целом свод кораблиновских произведений несет надежду — восторжествует «вечной правды, вечной жизни свет».

В творчестве Кораблинова живут история и современность, перекликаются эпохи, через столетия перебрасываются мосты, человек шагает в прошлое и будущее, люди надеются на завтрашний день, и, как ни маловероятна надежда, пусть им там будет лучше, чем нам, сегодняшним.

С послевоенной поры сохранилась у меня изданная в пятидесятом году книга сказок воронежских сказительниц Барышниковой и Корольковой. В детстве то была одна из любимых моих книг. Более всего я любил разглядывать художественное оформление сборника, особенно переплет и форзац. Рисовал Кораблинов, но ребенку эта фамилия ни о чем не могла сказать. На форзаце оранжево полыхал сказочный мир: летели гуси-лебеди, через доли, через реки лиса несла петушка, Сивка-Бурка вздымался выше темного леса. А на переплете — былинный богатырь перед придорожным камнем. Какой путь избрать? «Направо поедешь — будешь богат, налево поедешь — будешь женат, прямо поедешь — будешь убит». Направо хорошо, налево — еще лучше. А он — прямо.

...Взяв в поучение и предостережение наше прошлое, обращаясь к слову тех, кто это прошлое художественно отобразил (среди них — и Владимир Кораблинов), мы сполна поймем настоящее и удержимся в будущем.